

Константинова Алина

Посмотри  
на меня

18+

**Алина Константинова**  
**Посмотри на меня**  
Серия «Без гарантий», книга 2

*<https://litres.ru/73966119>*

*SelfPub; 2026*

**Аннотация**

Она потеряла всё: жениха, работу, веру в себя. Она больше не жалеет бездомных котят и не надеется на чудеса. Он — циник, лжец и манипулятор, привыкший покупать всё, включая людей. Их случайное знакомство могло бы остаться ничем, но он видит в ней то, чего не замечают другие: честность, которая не продаётся. Она ненавидит его за ложь, но не может забыть его прикосновений. История о том, как усталость от одиночества оказывается сильнее страха перед предательством, и о выборе, который не даёт гарантий. Роман заслуживает внимания читателей, интересующихся психологической прозой. Это вторая книга, продолжение романа "Не смотри на меня".

# Содержание

Глава 1	4
Глава 2	13
Глава 3	22
Глава 4	26

# Алина Константинова

## Посмотри на меня

### Глава 1

#### ГЛАВА 1

Раньше, ещё год назад, она не могла пройти мимо бездомного котёнка. Теперь — проходит. Даже не замедляя шага. Утром соседка, что живёт этажом ниже и вечно стирает в неположенное время, попыталась её остановить:

— Марья, там кошка совсем худая, может возьмёшь к себе?

Маша ответила, глядя не на соседку, а на дверь лифта, который никак не приходил:

— Она справится. Я — уже нет.

Соседка больше не заговаривала. И правильно. Слова — как монеты: когда их мало, тратишь с умом.

У неё больше не было сил даже на ту малую долю сочувствия, которую она раньше отдавала кошкам, нищим, коллегам в трудную минуту. Жалеть котёнка означало бы признать, что она всё ещё способна чувствовать. А чувствовать — значит бояться. Бояться, что тот, кого ты любишь, не вернётся. А он не вернулся.

Если он, такой сильный, такой правильный, погиб — то какой смысл заботиться о крошечной бездомной кошке? Мир несправедлив, добро не вознаграждается, а если и вознаграждается, то посмертно — чем, кстати, не подарок? Животное выживет или умрёт — какая разница? Все мы, в сущности, бездомные кошки, только одни мяукают громче.

Люди струились мимо по тротуару, точно тихая вода в осенней канаве — серая, безликая, не помнящая ни начала, ни конца. Шорох шин, обрывки чужих голосов, случайные взгляды, которые падают на тебя и тут же умирают, не оставив и следа. Она — вместе с ними, как часть этого потока.

Департамент архитектуры встретил её серостью, которая не удивляла — такой цвет появляется сам, как налёт на старом стекле. Стены, столы, лица. Кабинет на третьем этаже, третья парта слева, стопка бумаг на столе. Всё на своих местах, включая её собственную тень, которая каждое утро ложилась на одно и то же пятно на линолеуме.

Коллеги перебрасывались пустыми фразами: кто-то пил кофе; кто-то жаловался на погоду, хотя за окном было не то чтобы ясно, но и не дождливо; кто-то обсуждал вчерашний сериал, который никто не смотрел, но все делали вид, что смотрели, словно недосмотр за героями экрана мог быть зачтён как недосмотр за собственной жизнью.

Маша села на своё место — не поздоровавшись. Она не любила лишних телесных прикосновений, старалась ограничиваться молчаливым присутствием.

В ней не было той мягкой женственности, что притягивает взгляды. Но была хрупкость — напряжённая, будто её вот-вот раздавит. Глаза — не изумрудные, не яркие, а те самые, что в просторечии называют «болотными»: серо-зелёные, с тёмными крапинками, — но при этом на удивление большие, и эта величина придавала взгляду нечто вроде глубины, которая могла сойти за загадочность, если бы ей дали шанс. Нос с лёгкой горбинкой. На подбородке — ямочка, почти детская, которая появлялась, когда она сжимала губы. Русые волосы какие-то стёртые, сероватые. Она не красила их, не укладывала, почти не расчёсывала — хватит и того, что стянуты в низкий пучок или небрежный хвост. Она могла бы быть красивой — если бы однажды поверила в это. Или если бы кто-то заставил её поверить.

Раньше она кивала, улыбалась, спрашивала «как дела», хотя ответы были известны заранее. Теперь просто садилась. И это молчание казалось ей единственной честной формой общения.

Лена, вечная оптимистка, первой нарушила тишину.

— Маш, слышала? Со следующего месяца зарплату поднимают.

Маша перелистнула страницу отчёта, не поднимая головы. Отчёт был по объекту, который она проверяла уже трижды, и каждый раз находила одну и ту же ошибку, которую никто не исправлял.

— Деньги не делают счастливым, — сказала она тем ров-

ным, почти отсутствующим голосом, каким говорят о вещах, которые знаешь наизусть. — А только помогают несчастным выжить. Но у меня уже нет желания выживать.

Лена поперхнулась кофе. Кто-то из угла хмыкнул — то ли одобрительно, то ли просто воздух застрял в горле. Маша не обратила внимания. Она уже выключила звук.

«Ну и хорошо», — подумала она, в который раз проверяя ту самую ошибку. Ошибка никуда не делась, и это почему-то успокаивало.

Коллеги за соседним столом оживлённо обсуждали новость — государственным служащим поднимали зарплату на тринадцать процентов. Кто-то уже прикидывал, на сколько буханок хлеба больше, кто-то мечтал о новой сумке. Маша не слушала. Она смотрела на свои пальцы, которые бегали по клавиатуре, и думала: «Всё равно мало».

И это было единственной оценкой, которую она готова была вынести.

День обещал быть таким же бессмысленным, как и предыдущий. И он не обманул ожиданий. Отчёты, звонки, подписи. Маша работала быстро, почти механически, как заводной механизм, у которого села пружина, но он всё ещё движется по инерции. Пальцы бегали по клавиатуре, подпись ложилась чётко, без помарок — за время работы она научилась подписывать не глядя, так же как научилась не замечать того, что происходит вокруг. К часу она сдала две проверки, которые другие делали три дня. Начальник, принимая пап-

ку, крикнул и ничего не сказал — привык. Она просто делала и уходила.

В столовой пахло пережаренным маслом — запахом, который, казалось, въелся в стены ещё с советских времён и не собирался выветриваться, сколько ни проветривай. Лена, Игорь, ещё пара коллег — всё те же лица, те же голоса, одни и те же темы. Лена жаловалась на свекровь. Игорь ковырял вилкой рис и рассказывал про соседей сверху: опять залили, теперь на кухне плесень, жена не знает, чем вывести. Никто особенно не слушал, но все кивали — так тут принято.

— У меня свекровь на прошлой неделе юбилей отпраздновала, — щебетала Лена, нарезаая котлету на мелкие кусочки, будто боялась, что та убежит. — Семьдесят лет, представляешь? Сорок гостей, ресторан, танцы до утра.

— А у нас ремонт, — вздохнул Игорь, ковыряя вилкой рис. — Второй месяц. Соседи сверху залили, теперь стены переделывай. Уже и обои выбрали, и люстру купили, а всё равно не то.

— Ой, это ерунда, — отмахнулась Надежда Петровна. — Вот у меня у сестры с детьми проблемы. Старший в школу пошёл — учительница жалуется каждый день. Говорит, неуправляемый.

— Дети — это не ремонт, — заметил Игорь. — Стены переделать можно, а ребёнка — не переделаешь.

— Точно, — вздохнула Лена. Помолчала, потом повернулась к Маше, которая всё это время молча перекладывала

еду с места на место, не поднося вилку ко рту:

— А ты, Маш, как? Что в личной жизни? Вы не сошлись вновь с Вячеславом?

Маша подняла голову. Не сразу — так просыпается уличная кошка, которая всю ночь бродила по пустым улицам и теперь, застигнутая утренним светом, не знает, радоваться ли ей или снова закрыть глаза, чтобы ничего не видеть.

— Мой бывший решил, что жизнь слишком скучна без риска быть убитым, — сказала она, глядя в окно, где серое небо сливалось с серыми крышами. — Не могу сказать, что я его не понимаю.

Лена перестала жевать на секунду. Игорь поднял голову, но тут же опустил — не его проблема. Кто-то из угла хмыкнул, но тут же притворился, что кашляет.

— Мы не знали, что он погиб... — начала Лена, и голос её сорвался на ту ноту, которую Маша ненавидела больше всего, — сочувствие.

Маша встала. Её лицо ничего не выражало — ни боли, ни гнева, ни даже той усталости, которая стала её вторым «я».

— Теперь знаете, — сказала она.

— Мне жаль, — тихо произнесла Лена. — Упокой, Господи, его душу...

— Бог взял отпуск. Или уволился по собственному желанию. Не уточняла.

На секунду в столовой повисла тишина — та особенная тишина, которая бывает после неудачной шутки, когда ни-

кто не знает, смеяться или сделать вид, что не расслышал. Потом Игорь фыркнул. Лена прикрыла рот ладонью, но плечи её тряслись — нервно, безудержно, как у человека, который слишком долго сдерживался и наконец сдался. Даже Надежда Петровна, обычно хранившая невозмутимость, не выдержала — уголки её губ дёрнулись, и она, покачав головой, уткнулась в телефон с видом человека, который случайно увидел нечто неприличное и теперь делает вид, что ничего не было. Смех был недолгим, почти истеричным, но он разрядил воздух. Лена покачала головой.

— Ну ты даёшь, — выдохнула она.

Маша взяла поднос и направилась к стойке, не улыбнувшись, не обернувшись. Но внутри, где-то глубоко, под слоем той самой пустоты, шевельнулось что-то похожее на удовлетворение.

Рабочий день дотянул до вечера. Отчёты, звонки, подписи сменились привычной тишиной пустого кабинета, в которой каждый звук — скрип половицы, гул лампы, далёкий лифт — казался громче, чем положено. Маша не спешила. Она сидела за своим столом, смотрела на экран, где чертежи чужого проекта складывались в правильные, но безжизненные линии, и думала о том, что сегодня она ни разу не подумала о Вячеславе. Целых восемь часов — если не считать той короткой минуты в столовой.

\*\*\*

Танцевальный зал — просторная комната с зеркалами и станком. Маша переделалась. в центр вышла преподавательница. Молодая, лет двадцати пяти, с тёмными волосами, стянутыми в тугий узел. Облегающий топ открывал руки, на которых при каждом движении перекачивались мышцы — не рельеф культуристки, а та сухая, динамичная сила, которая бывает у танцовщиц High Heels. Музыка ударила с первого такта — не мелодия, а плотный, как удар сердца, ритм. Преподавательница двигалась так, будто вела диалог с залом: резкий выпад, поворот головы — и её глаза сверкнули в зеркале. Она не улыбалась. Её лицо было сосредоточенным, почти злым, но это была не злость — страсть, которую она высекала из воздуха.

Маша пришла на танцы почти год назад — тогда её тело жило своей жизнью, отдельно от неё: напряжённое, неловкое, будто она всё ещё ждала разрешения занять место в пространстве. Теперь тело слушалось. Не только потому, что она стала гибче или сильнее — просто исчез страх показаться смешной. Она перестала оглядываться на других, перестала проверять, правильно ли выглядит в зеркале. Движения стали её собственными: резкими, упрямыми, почти злыми, как у преподавательницы.

Уверенность пришла незаметно. Не как озарение, а как привычка — однажды она поймала себя на том, что ждёт занятий не из чувства долга, а потому что в ритме забывается

всё остальное.

В танце можно выплеснуть всё — весь свой нерастраченный потенциал и свою тёмную сторону. А тёмных сторон у неё прибавилось. Злость на Вячеслава — что ушёл воевать, что погиб, что она ему отказала. Злость на себя.

И ещё — какая-то новая жестокость, которая раньше не просыпалась. Она не кичилась ею, но и не прятала. Просто позволяла себе быть неудобной.

Она вернулась домой уставшая — до дрожи в ногах, до приятного жжения в мышцах. Эта усталость была почти счастьем. Потому что, когда тело требует только одного — лечь и не двигаться. Физическая усталость — это такое счастье, которое не нужно ни с кем делить.

Мать уже спала, телевизор работал на минимальной громкости.

Маша тоже легла, закрыла глаза. Тело гудело, под веками мельтешили обрывки танцевальных движений. Хорошая усталость. Спокойная. Она заметила: чем меньше она хотела, тем легче становилось дышать.

Сон подкрался быстро, но перед тем, как провалиться в темноту, она поймала себя на мысли: «Отсутствие желаний — это же нирвана. Выходит, я почти буддистка».

# Глава 2

## ГЛАВА 2

По субботам Маша ходила на рисование. Не в подвал и не в Дом творчества — в настоящую студию на Петровке, с высокими окнами, дорогими мольбертами и запахом настоящего масла. Студия называлась «Краски», и хозяйка её, Ирина Борисовна, была женщиной весёлой, круглолицей, с голосом, от которого звенели стаканы на столике у входа. Она носила яркие платки и никогда не убирала волосы — они лезли в глаза, в краски, в чай, который она пила на занятиях.

На рисование уходила большая часть зарплаты. Абонемент, холсты, краски, кисти. Иногда Ирина Борисовна звала известных художников на мастер-классы, и Маша платила за участие. Экономила на всём: на одежде — ходила в старых джинсах и свитерах, которые помнили ещё папу; на еде — готовила дома, брала с собой контейнеры; на развлечениях — не ходила в кино, не покупала книги, только из библиотеки. Но «Краски» не бросала.

Потому что, когда она смешивала на палитре ультрамарин с белилами и видела, как рождается новый оттенок — ни облачный, ни дождливый, а какой-то свой, ни на что не похожий, — внутри затихало. Мысли переставали метаться. Департамент, начальник, проверки, чужие взятки — всё это

отодвигалось куда-то далеко, за стекло, за раму, за горизонт, который она сама же и рисовала.

Сегодня она работала над натюрмортом. Три апельсина, глиняный кувшин и пёстрая тряпка, которую Ирина Борисовна называла «драпировкой с Востока». Маша давно перестала гнаться за сходством. Она смешивала, пробовала, смывала, начинала заново. Апельсины получались не оранжевыми, а какими-то тревожными — рыжими, будто пожар. Кувшин — слишком тяжёлым. Но ей нравилось.

— Ты, главное, не бойся, — сказала Ирина Борисовна, проходя мимо со своей кружкой. — Краска ошибок не помнит.

— Это я помню, — ответила Маша.

Ирина Борисовна ушла к другому ученику — мальчику-подростку с синими волосами, который мучил акварель. Маша улыбнулась. Раньше она бы зажалась, начала объяснять, почему апельсины вышли не такими, как надо. Теперь — разучилась оправдываться. Рисовала, как дышала. Иногда получалось плохо, иногда — ничего. Главное — процесс. Главное — два часа тишины, когда ты не «сотрудник департамента», а просто человек, который водит кистью по холсту и чувствует себя живым.

Рисование по субботам, танцы по вторникам — это якоря, которые не дают времени распасться на бесформенную массу.

Занятие закончилось. Маша вымыла кисти, собрала этюд-

ник, попрощалась.

— В следующую субботу приходи пораньше, — сказала Ирина Борисовна, вытирая тряпкой руки. — Хочу показать тебе новую технику, до начала занятия.

— Приду, — пообещала Маша.

Она спустилась в метро. В переходе играл тот же парень со скрипкой — играл уже несколько месяцев, одну и ту же мелодию, и Маша привыкла.

На «Пушкинской» пересела на кольцевую. Вагон был полон — субботний вечер, люди спешили по делам, в гости, домой. Маша стояла у двери, сжимая в одной руке этюдник, в другой — потёртую сумку.

Кафе на набережной встретило её так, как встречают старого друга, которого не видели много лет — запахом кофе, корицы и ещё чем-то невыразимо родным, от чего на душе становится тепло и тоскливо одновременно. Оля сидела у самого окна, в дальнем углу, где свет от уличного фонаря падал на её рыжие волосы и делал их похожими на осенние листья, ещё не утратившие своего золота. Она что-то быстро писала в толстой тетради, и казалось, что весь мир для неё сейчас сузился до этих страниц. Фонарь светил ей прямо в лицо, и в этом освещении — полутени, полусвете — она сама походила на героиню своего романа: задумчивую, далёкую, живущую где-то между строчками.

— Привет, — Маша опустилась на стул напротив. — Опять пишешь?

— Дописала, — поправила Оля, закрывая тетрадь. — Роман закончен. Четыреста страниц. И теперь я боюсь их открыть.

— Почему?

— Потому что, если перечитаю, найду сто ошибок. Если не перечитаю найдут другие.

Оля отодвинула тетрадь, подозвала официанта. Заказала большой капучино и тарелку с печеньем. Маша — чёрный чай и одно пирожное.

— Как там твоё рисование? — спросила Оля, когда они остались одни.

— Нормально, — Маша разломала пирожное, не глядя. — Сегодня апельсины рыжие получились. Ничего, Ирина сказала — не страшно.

— Ирина у тебя молодец, — заметила Оля.

Маша отпила чай.

— Когда я после смерти отца не могла спать, — сказала она, — я думала: вот бы кто-нибудь заметил, как мне плохо. А потом поняла: заметишь — не заметят, какая разница. Главное, что я сама заметила. Что я могу — встать, умыться, поесть, пойти на работу. И рисовать по субботам.

— Ты стала философом, — усмехнулась Оля.

— Я стала ритуальным агентом, только без лицензии, — поправила Маша. — Организую свои же похороны каждый день. Иногда со скидкой.

— Тебе двадцать пять, — фыркнула Оля. — Жизнь впе-

реди.

— А чувствую — на все шестьдесят.

Оля поставила чашку на блюдце, аккуратно повернула её за ручку.

— Ну давай, выкладывай. Что там у тебя на работе? Начальник опять зверствует?

Маша откинулась на спинку стула, посмотрела в потолок, где одна лампочка мигала, как азбука Морзе — то ли привет, то ли прощай.

— Не зверствует. Но начальников много. Один над другим. Заместителей — куча, а сотрудников — кот наплакал. Я — как винтик. Если сломаюсь, найдут другой, поменьше и крепче. Но я не переживаю. Если я потеряю эту работу — найду другую. Не сразу, но найду.

— Так может в компанию к Логунову? — сказала она осторожно. — К Луизе в отдел. Зарплата больше.

Маша усмехнулась.

— Это она звала или ты придумала?

— Честно? Она. Ещё месяц назад. Сказала: «Если Маша надумает уходить, пусть сразу ко мне». Я тогда не передала, думала, ты не захочешь.

— А сейчас?

— А сейчас смотрю на тебя и думаю: может, и захочешь.

Маша помолчала. Взяла чашку, отпила.

— Как Луиза? — спросила она тихо.

— Нормально, — Оля чуть оживилась. — Они с Логуно-

вым теперь... пара. Но есть свои проблемы, — Оля вздохнула. — В общем, как у всех. Сложно.

Оля наклонилась ближе, понизив голос.

— А ты... ещё злишься на неё? Ну, из-за того, что было?

Маша замерла с чашкой в руке. На секунду в её глазах мелькнула не обида, скорее удивление. Она поставила чашку, отодвинула блюдце.

— На Луизу? — переспросила она. — Нет. Давно нет.

Она помолчала.

— А любви к Логунову... — в голосе Маши мелькнуло что-то, отдалённо напоминающее смех. — Это было детство. Честное слово. И когда я вспоминаю, как краснела при нём, как ловила каждое слово... Мне смешно. Не над собой — над тем временем. Над той Машей, которая верила, что красивый и богатый её заметит. Теперь оно кажется не моим. Как будто я смотрела сериал про глупенькую девочку. «Если он когда-нибудь заметит меня — значит, я чего-то стою»... Я в это верила... Думала, что моя ценность должна быть подтверждена тем, кто труднодоступен...

Она сделала короткий вдох — не глубокий, а такой, каким прерывают фразу, когда решаются на честность. И договорила уже тише:

— Наверное, я завидовала Луизе, но не могла себе этого признать. Любовь к Максиму была способом быть «на равных» с ней... Это давало иллюзию сопричастности к чужой яркой жизни. Я... не столько любила Максима, сколько нуж-

далась в том, чтобы меня заметил кто-то, кого я сама поставила на пьедестал.

Она сделала паузу, провела пальцем по краю чашки.

— А после Славы... — добавила она. — Это уже совсем другая история... После всего, что было со мной за этот год, смешно даже вспоминать.

Оля смотрела на неё, не перебивая. Потом сказала тихо:

— Ты изменилась... стала... спокойнее. Как будто внутри перестала трястись.

— Может быть, — согласилась Маша. — Знаешь, это Слава меня таким сделал.

Она допила чай, поставила чашку.

— Я скучаю по нему... И жалею, что отказалась выйти за него замуж.

Оля отставила чашку с капучино. Секунду смотрела на Машу, потом отвела взгляд. Она не понимала этих странных, отношений, в которых Маша успела побывать с Вячеславом, — слишком много неловкости для неё, посторонней. Но говорить плохо о погибшем не смела. Поэтому просто кивнула — скорее себе, чем Маше, — и сказала:

— Это... тяжело, наверное.

И, чтобы не углубляться, сказала, почти вызывающе:

— Кстати, у меня тоже был кандидат. На прошлой неделе. Познакомились в сети, поболтали пару дней, вроде нормальный. И тут он говорит: «Давай сходим в бассейн. Это наше первое свидание».

Маша подняла бровь.

— В бассейн?

— Да. Объяснил так: «Я хочу сразу видеть фигуру и лицо без макияжа. Не люблю котов в мешке».

Оля откинулась на спинку стула, сложила руки на груди.

— Я ему говорю: «Отличная идея. А давай тогда в баню. Я тоже хочу сразу видеть, не прячешь ли ты что-нибудь важное. Веники беру с собой».

Маша не удержалась, усмехнулась.

— И что он?

— Слился. Сказал, что я слишком агрессивная. — Оля пожала плечами. — А я просто честная. Хочет посмотреть на меня без макияжа — пусть и сам не прячется. Равноправие, знаешь ли.

— Он не понял юмора, — заметила Маша.

— Он понял, что я не шучу.

Оля взяла печенье, надкусила.

— Так что я снова в поиске. И, кажется, останусь в нём надолго.

Маша молчала, но в уголках её губ мелькнуло что-то вроде слабой усмешки.

Они расплатились по очереди — так было заведено с первого курса. Вышли на улицу. Дождь перестал, но воздух был сырым и холодным. Маша подняла воротник старой, потёртой куртки.

— Не пропадай, — сказала Оля.

— Не пропаду, — ответила Маша.

У турникетов они обнялись. Оля была единственной, кто не требовал от Маши ни тепла, ни ответных жестов. Она обнимала — Маша не отстранялась. Маша молчала — Оля не обижалась. Так сложилось само собой, без договорённостей, и это отсутствие правил было единственным правилом, которое Маша готова была принять.

Оля ушла в сторону автобусной остановки, Маша спустилась на платформу. Поезд пришёл почти сразу, вагон был полупустым. Она села у двери, поставила этюдник на колени и закрыла глаза.

Внутри было пусто и тихо, как в только что вымытой комнате, где всё на своих местах, но пока никто не живёт. Ни злости, ни страха, ни надежды.

# Глава 3

## ГЛАВА 3

По вторникам и четвергам вечерами, если не было проверок, Маша ходила на курсы вождения. Не потому, что мечтала о собственной машине — на её заработок новую не купить, а старую, если бы она у неё была, пришлось бы латать так часто, что и на латание не хватило бы. Просто это было ещё одно место, где можно забыться. Как рисование, только с рулём и педалями. И с инструктором, который, казалось, возник из какого-то параллельного мира, где вежливость считалась изменой родине.

Автошкола, рисование, танцы — способы протянуть ещё один день, не утруждая себя вопросом «ради чего?». Не поиск смысла, а простое, почти рефлекторное существование. Как моргать.

Инструктора звали Пётр Степанович. Ему было под семьдесят, он носил советский кожаный планшет и ругал всех курсантов так, будто они собирались не парковаться, а пускать ракету в сторону Пентагона. Его любимая фраза: «Вы не машину водите, вы гроб с мотором тащите». Маша его зауважала сразу. Потому что он был честен, как похоронный агент: не врал, не скрашивал, не надеялся на лучшее.

Сегодня они отрабатывали параллельную парковку. Зад-

ним ходом. Между двумя стойками, которые Пётр Степанович называл «условные автомобили», но которые всякий раз, когда Маша задевала левую стойку, превращались в «два трупа, которые вы только что убили, Соколова».

— Куда крутите? — заорал он. — Вы не руль крутите, вы жизнь свою крутите под откос!

Маша молча выровняла машину. Стойка справа хрустнула. Второй раз за занятие.

— Два трупа, — констатировал Пётр Степанович, записывая что-то в планшет. — Если бы здесь стояли люди, вы бы сейчас отвечали перед Господом.

— А если бы здесь стоял памятник Ленину? — спросила Маша, не оборачиваясь.

— Что?

— Говорю, если бы здесь стоял памятник Ленину, вы бы сказали «убили вождя мирового пролетариата» или просто «труп»? Я просто уточняю шкалу ценностей.

Пётр Степанович замолчал. Он не привык, чтобы ему отвечали. Его курсанты обычно плакали. Или ввали, что у них аллергия от его одеколона. Но эта бледная девушка в старых джинсах смотрела в лобовое стекло спокойно, будто обсуждала, где лучше хоронить — в гробу или в земле.

— Вы странная, Соколова, — сказал он наконец.

— Я адекватная, — ответила Маша. — Просто привыкла к стрессу. У меня работа в департаменте.

Пётр Степанович крикнул, но тему закрыл.

Она сдала параллельную парковку с пятой попытки. Левую стойку больше не сбила, правую — тоже. Инструктор сказал: «Удивительно».

На обратной дороге, когда они менялись местами и Пётр Степанович вёл машину к учебному центру, он вдруг спросил:

— А правда, что вы в департаменте архитектуры работаете?

— Правда.

— И всё время проверяете?

— Проверяю. И перепроверяю.

— Тоска, — сказал он.

— Не то слово, — согласилась Маша. — Но если бы я хотела веселья, пошла бы в каскадёры. Или в могильщики. Там хоть клиенты не жалуются.

Пётр Степанович задумался.

— Вы, Соколова, опасный человек.

— Я осторожный, — поправила Маша.

Инструктор крякнул снова. И, кажется, впервые за десять лет не поставил «неуд» в планшет.

Маша вышла из машины, поправила старую куртку, и пошла к метро.

Она спустилась на платформу. Поезд пришёл через минуту. Маша села у двери, поставила сумку — рядом.

«Автошкола — это терапия, — подумала она. — Только вместо психолога — военный пенсионер, вместо кушетки —

убитая «Лада», вместо таблеток — его крики. И это работает. Потому что когда тебя называют трупом, забываешь, что внутри ты уже давно не жилец».

Она достала телефон, написала Оле: «Сдала парковку. Приходи в субботу — расскажу, как я убила Ленина».

Оля ответила смайликом и знаком вопроса. Маша убрала телефон.

# Глава 4

## ГЛАВА 4

Маша приехала на объект к девяти утра, но дорога отняла больше времени, чем она рассчитывала. Усадьба князей Зарецких стояла в двадцати километрах от города, среди берёзового перелеска, и даже отсюда, с просёлочной дороги, были видны её обветшалые колонны и облупившийся фронто́н. Фасад давно требовал реставрации, но только сейчас нашёлся инвестор, получивший разрешение на превращение исторической усадьбы в загородный отель.

Маша вышла из служебной машины, взяла папку с документами и пошла к строительной бытовке, которую поставили прямо на месте бывшего партера. За столом сидел мужчина — она не сразу разглядела его лицо из-за тусклой лампы под потолком.

— Вы, наверное, из департамента? — спросил он, даже не подняв головы. Голос — как потягивание после долгого сна: медленный, с ленивой усмешкой в интонации. — А я думал, пришлют кого-то постарше и позлее.

Маша нахмурилась.

— Позлее я могу вам обеспечить. Меня зовут Мария Соколова. У меня предписание проверить соответствие реставрационных работ проектной документации. С кем я могу по-

говорить?

Мужчина наконец поднял глаза. Ей показалось, что они сверкнули — то ли от блика лампы, то ли от неё самой. Взгляд карих глаз был внимательный, подбородок квадратный. Легкая щетина придавала лицу небрежную элегантность. Его выражение лица спокойное и уверенное, создавало впечатление надежности. Оно было правильным, почти красивым, но портила его лёгкая, неуловимая усмешка, которую Маша уже видела однажды — у бывшей подруги Луизы, когда та собиралась сказать очередную колкость. Темные волосы средней длины были аккуратно уложенные.

— Я Андрей, — представился он, вставая и протягивая руку. — Андрей Ковалёв. Генеральный подрядчик. Можно просто Андрей. — Он пожал её ладонь — сухую, тёплую, и тут же отпустил, будто пожалел. Маша не любила, когда к ней прикасались, но рукопожатие было тем редким исключением, которое не требовало от неё ответного жеста. Короткое, деловое, без намёка на фамильярность — оно не успело стать неприятным, прежде чем закончилось.

— У вас отличное рукопожатие, Мария. Твёрдое. Не как у большинства ваших коллег.

— Спасибо, — сухо ответила Маша, хотя внутри шевельнулась неловкость. Она не привыкла к комплиментам на проверках. — Где проектная документация?

— Всё в порядке, — Андрей кивнул на стопку папок в углу. — Забирайте, изучайте. Но сразу скажу: у нас здесь не

реставрация, а сплошная импровизация. Старые стены сыплются, как песочное печенье. Приходится менять материалы, не всегда по проекту.

— Это нарушение, — заметила Маша, уже открывая первую папку. — Любая замена должна быть согласована.

— Согласована, — он развёл руками. — Всё, что могли, согласовали. А что не могли — переделаем. Вы же не станете придираться к мелочам? Здание стоит сто лет. Если бы мы строго следовали проекту, оно бы рухнуло к моменту открытия.



Маша поджала губы. Она уже поняла: этот человек будет юлить, оправдываться, но на самом деле его интересует только одно — чтобы проверка прошла гладко.

Она провела на объекте три часа. Замеряла отступы, фотографировала кладку, сверялась с чертежами. Несколько раз находила расхождения: вместо натурального камня — искусственный, вместо дубовых оконных рам — пластик, да ещё и с трещинами. Всё это она фиксировала в блокноте, не поднимая головы. Андрей ходил за ней по пятам, задавал пустые вопросы, иногда хватал её за локоть, указывая на что-то, и эти прикосновения были слишком долгими, слишком настойчивыми. Ёе это раздражало. Она отдёргивала руку — каждый раз, не задумываясь, как отдёргивают от горячего.

Теперь Вячеслава нет. И она вдруг поняла, гуляя по сырому, пахнущему цементом зданию, что его прикосновения — и ещё Олины — были единственными, которые она научилась принимать. С его смертью эта способность умерла вместе с ним. Даже к Оле она теперь боялась протянуть руку.

— Вы всегда такая серьёзная? — спросил он, когда они остановились у восточного крыла, откуда открывался вид на разросшийся парк.

— На работе — всегда, — ответила Маша, не глядя на него.

— А в жизни?

— В жизни тоже, — она подняла глаза и посмотрела ему

прямо в лицо. — У вас нет согласования на замену кровельного покрытия. Это грубое нарушение. Я обязана внести его в акт.

— Внесёте, — он кивнул, не выказывая ни тени беспокойства. — А потом что? Штраф? Предписание? Всё это решаемо.

— Решаемо? — Маша насторожилась.

Андрей тихо выдохнул что-то вроде смешка — коротко, почти ласково.

— Мария, я предлагаю вам подумать. Вы — молодая, принципиальная. Таких в вашем департаменте — единицы. Но принципиальность не оплачивает ипотеку. А у вас, я смотрю, глаза усталые. Не от работы, от жизни.

— Не переводите тему, — отрезала Маша, хотя внутри кольнуло — он попал в точку.

— Я не перевожу, — он сделал шаг вперёд, сократив дистанцию. — Я просто хочу, чтобы вы поняли: закрыть глаза на пару недочётов — это не преступление. Это взаимовыгодное сотрудничество. Вы пропускаете мой объект, я — помогаю вам... ну, скажем, сделать вашу жизнь чуть легче.

Она отступила на шаг — грудную клетку словно обдало морозом.

— Нет. Я не беру взяток. И не закрываю глаза на нарушения. У вас есть две недели, чтобы привести всё в соответствие с проектом. Иначе — предписание и штраф.

Его лицо изменилось. Усмешка не исчезла, но стала дру-

гой — жёсткой, почти опасной, и от этого квадратный подбородок, ещё минуту назад казавшийся просто крепким, обрёл недву­смысленную решимость рубленого топора.

— Жаль, — сказал он тихо. — А я ведь хотел по-хорошему. Теперь, Мария, у меня не остаётся выбора.

— Что вы имеете в виду?

— То, что если вы не подпишете акт без замечаний сегодня, я позвоню вашему начальнику и скажу, что вы требовали у меня взятку. За подписание фиктивного акта.

Маша вдруг ощутила себя стеклянной — прозрачной и хрупкой.

— Это ложь.

— Конечно, ложь, — он развёл руками, и в этом жесте было столько откровенного цинизма, что у неё перехватило дыхание. — Но у меня есть свидетели. Мои прорабы, мой юрист. Все они слышали, как вы сказали: «Без денег не подпишу». Или что-то в этом духе. Я ещё придумаю детали.

Она сжала блокнот. В голове стучало: «Он не может. Не посмеет». Но она знала — может. Такие, как он, умеют убеждать.

— Вы не сделаете этого, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал твёрже, чем колотилось сердце. — Это уголовное преступление. Клевета.

— Докажите, — он улыбнулся почти ласково. — Честность, знаете ли, плохая защита в суде, когда на одной чаше весов — мои деньги, а на другой — ваши слова.

Она молчала. Внутри всё кипело, но она заставила себя дышать ровно, как учат на курсах первой помощи, когда больной в шоке.

— Выбирайте, — сказал Андрей. — Или вы подписываете акт прямо сейчас, и мы расходимся друзьями. Или я уничтожаю вашу карьеру. У вас есть пять минут.

И он отошёл к окну, повернувшись к ней спиной. Будто давая время подумать. Будто она уже согласилась.

Маша смотрела на его затылок, на дорогую куртку, на руки, засунутые в карманы. И вдруг поняла — она не боится. Она злится. Злится так, что готова кричать. Но вместо крика она сделала то, что умела лучше всего — выпрямила спину и сказала спокойно, почти шепотом:

— Звоните.

Андрей медленно обернулся. Его брови дрогнули.

— Что?

— Звоните вашему начальнику, — повторила Маша. — Или моему. Я не подпишу акт. А когда вы подадите жалобу, я напишу встречную — о том, что вы угрожали мне и предлагали взятку. У меня нет адвокатов и связей, но есть диктофон в телефоне. И он был включён всё это время.

Она вытащила телефон из кармана, показала ему экран — красная кнопка записи горела уже полчаса. Она включила диктофон, когда он впервые коснулся её локтя. На всякий случай.

Маша научилась быть начеку, после случая, когда ее за-

перли на складе, во время проверки.

В прошлом году её отправили на проверку склада строительных материалов. Хозяин склада, человек с нечистыми сделками, не заплатил начальнику взятку (или платил нерегулярно), и начальник приказал Маше найти любые нарушения. Хозяин склада, чтобы выиграть время и припугнуть проверяющую, закрыл её в помещении на час — якобы случайно, но она поняла, что нарочно. Маша вызвала полицию, но начальник замял дело. С тех пор она стала осторожнее и включала диктофон.

Андрей замер. На секунду его лицо стало удивлённым, как у игрока, который вдруг понял, что соперник держит туза. А потом он расхохотался. Громко, открыто, запрокинув голову.

— Мария, — сказал он, вытирая выступившие слёзы, — вы меня убили. Просто убили.

Он подошёл к ней, взял её руку с телефоном и осторожно, почти невесомо нажал «стоп». Запись остановилась.

— Этот разговор был проверкой, — сказал он, и в голосе не осталось ни угрозы, ни даже насмешки. — Я хотел посмотреть, как вы поступите.

Маша отдёрнула руку.

— Вы псих, — сказала она.

— Возможно, — он не спорил.

Она выдержала паузу — такую долгую, что он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но она перебила:

— Вы не псих, — добавила Маша, глядя ему прямо в глаза. — Вы неудачник. Неудачник в искусстве шантажа.

Андрей не обиделся. Он посмотрел на неё с той особенной, сытой ленцой, какая бывает у человека, который только что плотно пообедал и теперь не прочь подремать на солнце, но глаза его — эти карие, с неожиданным золотистым отливом — смотрели с прищуром, будто он что-то высматривал в полумраке, и это «что-то» явно не собиралось ускользнуть. Взгляд был ленив, но цепок; в нём не было ни злости — только выжидательное, почти любопытное спокойствие.

— У нормальных людей, — продолжила она так, будто слова выветривали тепло из комнаты, — шантаж выглядит так: сначала компромат, потом ультиматум. А у вас сначала ультиматум, потом признание, что это проверка. Вы даже испугать как следует не смогли. Позор.

Андрей дёрнул уголком губ — так, будто хотел улыбнуться, но передумал на полпути.

— Знаете, Андрей, есть два типа людей, которые предлагают взятки. Первые — идиоты. Вторые — умные идиоты. Вы — третий тип. Вы — идиот, который считает себя умным. Это самый опасный вид.

— Мария, вы только что описали половину вашего департамента, — сказал он спокойно. — Включая вашего начальника.

Маша замерла. Он продолжал:

— Знаете, кто подарил ему питона в прошлом году? Я. Он

его обожает. Называет «Петрович».

Она не знала, что ответить. Питон — легенда департамента, смутный слух, оброставший с каждым годом новыми подробностями, как старый дом плющом, — вдруг обрёл имя дарителя. Им оказался этот человек с ленивой усмешкой, стоящий сейчас перед ней.

Андрей сделал паузу. Не драматическую — так, секундную, чисто техническую, чтобы информация успела осесть в её голове, как песок в тёплую воду, прежде чем он продолжит.

— Вы, конечно, можете написать жалобу. Но её подпишет он. А он подпишет что угодно, потому что Петрович любит куриные сердечки, а я — единственный, кто знает, где их продают по специальной цене.

Внутри всё шло ходуном — от бешенства, от беспомощности, от того, что этот человек с ленивой усмешкой играл с ней, как кот с мышью, и явно наслаждался процессом. Однако она отказывалась признавать себя мышью — хотя бы потому, что мыши не умеют злиться так изошрённо, как она сейчас.

— Вы правы, — сказала она наконец, и в голосе её зазвучала та спокойная, ледяная сталь, которую она сама в себе не подозревала. — Жаловаться начальнику, которого вы держите на куриных сердечках, бесполезно.

Андрей усмехнулся — не ленивой, снисходительной улыбкой, что была прежде, а другой, короткой, почти одоб-

рительной. В глубине его глаз, в той их части, которая обычно остаётся пустой и невыразительной, мелькнуло нечто вроде уважения: не восторг, не страх, а профессиональное «а ты, оказывается, умеешь кусаться», с каким один фехтовальщик салютует другому после особенно удачного выпада. И в этот миг, глядя на неё, он вдруг подумал, что она почти красива.

Когда Маша злилась по-настоящему, когда гнев захватывал её целиком, её глаза — обычно серо-зелёные, — вдруг наливались таким густым, тёмным оттенком, что становились похожи на крыжовник: ягода уже налилась соком, но ещё не пожелтела, и в этой зелени чувствовалась колючая, кислая острота. Прожилки ярости делали её лицо почти опасным. Она не знала этого. И, наверное, никогда бы не поверила, если бы ей кто-то сказал.

— Поэтому я предлагаю вам сделку, Андрей. Не взятку, нет — честную сделку. Вы исправляете все нарушения в течение двух недель. Покупаете настоящий камень, настоящий дуб, настоящую черепицу. Я приезжаю с повторной проверкой. И если всё идеально — я подписываю акт без единого замечания. Запись я уничтожу. А Петрович пусть ест свои сердечки. Идёт?

Он молчал. Долго. Так долго, что она уже решила — не ответит. Но он ответил:

— Идёт, — сказал он хрипло.

Она не поняла, откуда взялась эта хрипота — то ли он действительно сдался, то ли просто устал притворяться. Но

что-то в его голосе было не так. Не фальшь — скорее, странная покорность, которой она от него не ожидала. «Странно», — подумала она, не зная, к кому отнести это слово: к нему, к себе или к их внезапному перемирию.